



Олег Владимирович Кашин
Горби-дрим
Серия «Russian-дрим»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8883032
Олег Кашин. Горби-дрим: АСТ; Москва; 2015
ISBN 978-5-17-088566-4

Аннотация

Олег Кашин (1980) российский журналист и политический активист. Автор книг «Всюду жизнь», «Развал», «Власть: монополия на насилие» и «Реакция Путина», а также фантастической повести «Роисся вперде». В книге «Горби-дрим» пытается реконструировать логику действий Михаила Горбачева с самого начала политической карьеры до передачи власти Борису Ельцину.

Конечно, я совершенно не настаиваю на том, что именно моя версия, которую я рассказываю в книге, правдива и достоверна. Но на чем я настаиваю всерьез: то, что мы сейчас знаем о Горбачеве – вот это в любом случае неправда. Свою версию я готов назвать фантазией, но за что готов ручаться – ни слова лжи в ней нет.

Содержание

От издателя	5
Горби-дрим. Так говорил Горбачев	7
I	7
II	8
III	10
IV	11
V	12
VI	13
VII	15
VIII	16
IX	17
X	19
XI	20
XII	21
XIII	23
XIV	25
XV	26
XVI	28
XVII	29
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Олег Кашин Горби-дрим

© Кашин О.В., текст

© ООО «Издательство АСТ»

От издателя

Отдавая мне эту книгу, автор, известный [в прошлом] российский журналист Олег Кашин, сопровождал ее таким пояснением, что, если рассказанная им история покажется мне странной и неприемлемой, он просит не передавать рукопись спецслужбам (если подобные найдутся в современности, а они, конечно, легко найдутся и часто находятся), а тихо вернуть ему, сделав вид, что ничего не было. То есть – совсем ничего не случилось.

Текст действительно вызывает слишком много вопросов [может быть, чуть меньше, чем книги Масодова, но меж тем...]. Автор утверждает, что написал его по материалам нескольких личных бесед с Михаилом Горбачевым в период с сентября 2009 по ноябрь 2010 года; при этом доказать, что эти беседы действительно были и что Горбачев действительно все это рассказывал, Кашин не может. В своем втором письме он уточнил, что «к этому рассказу, безусловно, стоит относиться как фантазии», но при этом он «ручается, что ни слова лжи в книге нет». Если так, то я думаю, что не все из рассказанного Кашиным якобы со слов Горбачева стоит воспринимать буквально, но, очевидно, перед нами не просто псевдоисторическое фэнтези, а нечто более сложное. Постмодернистское визионерство – подлинный Горби-дрим.

История советского государства от начала до его крушения в 1991 году – вероятно, это самый неизученный период новейшего времени. Достоверные свидетельства о политической истории Советского Союза перемешаны с множеством сфальсифицированных документов, воспоминаний и заведомо недостоверных публикаций прессы. Миллионы людей прожили под властью коммунистов и ничего толком не поняли. Умерли – и тоже ничего не поняли. Власть, которая пришла из ниоткуда и исчезла в никуда. Ее декларируемые цели, очевидно, сильно отличались от подлинных, но какими именно были подлинные – этого не знает никто. Может быть, кроме Сорокина. И, может быть – Кашина.

Очевиднее всего это становится, когда дело касается отношений большевистского государства со странами Запада. Эти отношения вызывают слишком много вопросов, а несоответствие риторики и реальности иногда делается просто неприличным. Кто вырос на «Золотом теленке», тот помнит, очевидно, «коробочку спичек, на которой изображен самолет с кукишем вместо пропеллера и подписью “Ответ Керзону”», – казалось бы, все ясно, советская пропаганда стремилась доносить антибританскую повестку дня до всех слоев общества. Но этот спичечный коробок с кукишем начинает выглядеть совсем иначе, если знать, что именно такие (именно с этой этикеткой) спички были первым советским товаром, экспортированным в Соединенное Королевство, то есть Британия платила за то, чтобы на спичках был нарисован адресованный Керзону кукиш. Как, почему?

Не проще обстоят дела с внутривнутриполитической историей СССР, которая при ближайшем рассмотрении оказывается последовательностью вообще не связанных между собой периодов, каждый из которых заканчивался так же внезапно, как и начинался. Западные советологи тридцать-сорок лет назад писали аналитические записки на основании расстановки членов политбюро на Мавзолее – это смешно, но за эти годы никто не придумал более адекватного способа анализировать советскую иерархию, чем даже такая алхимия. Может быть, все-таки существуют какие-то другие способы?

Наконец, перестройка. Мы до сих пор не знаем ее реальных целей, блуждая между официальной (модернизировать советскую систему) и конспирологической (развалить СССР, чтобы «тусоваться красиво») версиями. Было ли в действительности предопределено крушение советского государства? Если было, то почему и зачем? Вопрос повисает в воздухе. «Не знаем».

*Мы не знаем **ничего**, и разве не естественно, что у нас нет и ответа на самый незначительный на таком фоне вопрос – разговаривал ли Горбачев с Кашиным, рассказывал ли он ему все эти истории про Сталина, Суслова и Громыко. Горбачев не ответит нам на этот вопрос, не ответит и Кашин, но даже без прямого ответа их история, по крайней мере, заслуживает внимания. И именно поэтому я отдаю ее не спецслужбам, как боялся автор, а в печать, что происходит в моем исполнении со всем, что – по хорошему – никогда не стоило бы публиковать.*

Илья Данишевский

Горби-дрим. Так говорил Горбачев

I

— Что, опять меня хоронят? — в телефоне знакомый голос, и ладно бы просто знакомый, но это ведь как-то по-другому называется, и даже если сказать, что этот голос родной, все равно будет неточно. Теперь кажется, что в детстве из этого голоса состоял весь внешний мир, как в войну из голоса Левитана. С моих пяти до одиннадцати лет — этим ставропольским говорком разговаривала со мной даже не власть, Бог бы с ней, а как минимум история; мы все тогда жили в истории, и я только потом, взрослым, понял, что это была она. И вот мои отношения с историей — странные, глупые. В прошлом году кто-то сказал, что он умер, я позвонил, ожидая чужого скорбного голоса, а ответил он сам, выругался матом (вот просто представьте, как история может ругаться матом), я обрадовался, что-то еще ему сказал, попрощались, но, наверное, кто-то очень хотел, чтобы он умер — через сколько-то месяцев о его смерти сообщили еще раз, потом еще раз, потом еще, и каждый раз я звонил, и каждый раз в телефоне «тот» голос, и каждый раз — ну здоровья вам, извините, обнимаю; мне было важно сказать истории именно «обнимаю», потому что когда еще и при каких обстоятельствах получится обнять историю.

Тот раз был, кажется, седьмой за два года. Я снова звоню ему, и он уже вместо «здравствуйте» — «Что, опять меня хоронят?», и я что-то говорю в ответ, а он, как в детстве на съезде народных депутатов, перебивает — «Ладно, давай адрес». Адрес, какой адрес? — но я уже диктую номер своей квартиры, потом кладу трубку, ставлю чай, и потом звонок в дверь. История пришла. «Ну здравствуй».

Тот первый наш чай — сейчас я уже не вспомню, о чем мы тогда говорили. Важно, наверное, что я ему понравился, и что мы договорились, что он зайдет ко мне потом еще раз. К концу того месяца он приходил уже без звонка, просто дергал дверь, и я шел открывать — наверное, в жизни каждого человека однажды появляется одинокий старик, который вот так приходит в гости, и я, в общем, был рад, что моим таким стариком оказался именно он. Мы садились друг напротив друга, он спрашивал, что у меня нового, я рассказывал какую-нибудь сплетню, он вздыхал — «Ну ничего себе», и я уже знал, что сейчас он опять что-нибудь вспомнит.

II

В детстве совсем далеко, когда история разговаривала какими-то другими, я их не помню, голосами, или даже не разговаривала вообще (сейчас я больше склоняюсь к этой версии), то есть до него, по телевизору в новостях диктор читал прогноз погоды на фоне не географической карты, а просто картинки – круг, разделенный на четыре сектора, в одном дождь, в другом снег, в третьем туча, в четвертом солнце. Я любил подбегать к телевизору и веселить родителей, показывая на каждый сектор – Калининград, Калининград, Калининград, Ставрополь. Сколько мне было – два года, или три, но я уже точно знал, что плохая погода – всегда в Калининграде, моем родном городе, который в те времена на настоящей карте пропадал в тени «республик Советской Прибалтики»; у советского обывателя никакого конкретного представления о Калининграде не было, и я, кажется, с рождения привык, что люди из других городов, спрашивающие при родителях о моем родном городе, при слове «Калининград» в лучшем случае интересовались, часто ли мы бываем в Москве – такое же имя носил тогда маленький город совсем рядом с Москвой, потом его переименуют в честь космического конструктора Сергея Королева. В общем, мой Калининград – город, в котором никто не был; город, в котором всегда плохая погода.

А Ставрополь – это, конечно, было солнце. В те времена югом обычно называли курорты на Черном море, если скажешь, что поехал на юг, то можно было легко угадать – или в Крым, или в Абхазию, или в Сочи. Я до сих пор ни разу не побывал ни там, ни там, ни там, и моим югом всегда останется маленький аэропорт в степи, лесополосы (само слово «лесополоса» – оно оттуда, на севере его нет; потом, когда под Ростовом будут ловить маньяка Чикатило, у милиционеров это так и будет называться – операция «Лесополоса»), в которых, между прочим, растут абрикосы (и как обойтись без еще одной скобки: в первом или втором классе, когда на уроке пения мы разучивали песню «Солдатушки, бравы ребятушки», кто-то из хулиганов спел – «Наши сестры пили абрикосы»; абрикос был настолько экзотическим фруктом, что его, пожалуй, можно было и пить, никто не удивлялся – мне тогда показалось, что я один во всем классе видел, как на самом деле растет абрикос. Говорить об этом вслух я, конечно, постеснялся, традиция советской школы не располагала к тому, чтобы ссориться с хулиганами), между лесополосами – опытные поля, о которых я тоже, как сейчас кажется, с рождения знал, что они опытные, поскольку на краю каждого поля торчала табличка – «Опытное поле номер такое-то». Это были поля сельскохозяйственного НИИ, странного научного учреждения, переведенного когда-то в эти еще тогда не опытные поля чуть ли не из Москвы. Хрущев хотел, чтобы сельскохозяйственная наука из городов переехала в сельскую местность, в «Крокодиле» постоянно печатали карикатуры про асфальтовых агрономов, никогда не бывавших в деревне, и чтобы не расстраивать Хрущева, в село перевели и этот институт. Нашли брошенный военный городок и всем институтом в него и переехали, и мой дед с семьей тоже переехал.

– А твой дед кто был? – спрашивает он меня голосом первого секретаря Ставропольского крайкома партии; первый секретарь должен знать всех людей своего края, и я называю фамилию, должность – конечно, он не знает и не знал никогда, но с его лицом что-то происходит, и пускай он думает, что я ему поверил, и он помнит моего деда, незащитившегося аспиранта московской Тимирязевки, который учился на животновода, а потом оказалось, что на лысенковца.

– Они мне вручали такой здоровый пшеничный венок к какому-то юбилею, – он описывает вокруг своей шеи какую-то фигуру руками, показывает, какой был венок. – Я его потом в краевой музей сдал, выбросили, наверное.

Я говорю, что слышал об этом венке и о том, как к его приезду штукатурили фасад института, и еще была история, как, видимо, в тот же приезд он осматривал опытные поля, и, восхищенный уродившейся пшеницей, снял с себя пиджак и бросил его на поле, и пшеница под пиджаком совсем не примялась, и он, как мне рассказывал кто-то из друзей деда, сказал, мол, смотрите, товарищи, какая сильная пшеница, а кто-то из ученых, наверное, профессор Гончаров, указывая на золотой чуть ли не карденовский ярлык на изнанке пиджака, ответил, что он бы на месте первого секретаря такой дорогой пиджак не стал бы бросать в пыльный хлеб, и все, по тому же рассказу, героически рассмеялись в лицо краевому начальнику. Сама история, по крайней мере, в части про дружный смех, мне всегда казалась не вполне достоверной, и вот возможность проверить, так ли все было на самом деле, и он задумывается, пытается, наверное, вспомнить те колосья, потом говорит:

– Ну что ты, какой Карден, у меня всегда костюмы из ателье были, да и у Раисы тоже всегда, – и замолкает на этом имени, и я говорю себе, что про Раису, покойную его жену, я спрашивать никогда не буду, не мое это дело.

III

Ставрополье – русский Прованс: холмы, запахи ароматных трав, подсолнухи в полях, абрикосы в лесополосах между полями, даже свое, хоть и дрянное, вино. Ставрополье было бы похоже на Кубань или на Дон, если бы не Кавказ, который (вспомните форму терских казаков), оказав известное влияние на местную культуру, стал, видимо, той последней каплей, которая сделала Ставрополье Ставрополем. Милый южноевропейский край, посреди которого стоит милый южноевропейский маленький, но все равно губернский русский город, о котором кто-то из уже советских краеведов писал, что его первые застройщики были, очевидно, людьми толстыми и основательными, потому что все дома, расставленные вдоль главного проспекта, как раз и похожи на толстых и основательных людей, которые, сидя в сумерках (днем не сидешь, жарко) на огромных балконах с красивыми чугунными фигурными решетками, пили из блюдец горячий чай с чабрецом – чабрец растет даже в городе на газонах и во дворах, как крапива в средней полосе России.

Когда-нибудь главный проспект Ставрополя назовут, конечно, его именем, но пока и для меня, и для него это проспект Маркса, хотя на самом деле это и не проспект вовсе, а бульвар – узкая проезжая часть по обе стороны от аллеи двухсотлетних дубов. Последний раз я был в Ставрополе лет пять назад, он – уже очень давно, почти двадцать лет прошло, он тогда зачем-то выдвинулся в президенты России на «тех самых» выборах, и именно в Ставрополе во время встречи с избирателями какой-то идиот съездил ему по шее, когда он сходил с трибуны после выступления в местном университете. Он вспоминает об этом, я в ответ рассказываю ему об индустрии провокаторства, очень развитой в русской политике сейчас и наверняка уже существовавшей в девяносто шестом году. Он внимательно слушает, потом смотрит на меня – «Так ты думаешь, ему тогда кто-то заплатил?» Да, да, говорю я, он снова смотрит на меня и, кажется, верит. Хотя черт его знает, как оно было на самом деле.

IV

Мои предки приехали на Ставрополье в конце пятидесятих годов двадцатого века, его – веком раньше, сразу после отмены крепостного права. Привольное – его родное село, по нынешним скоростям, в двух часах езды от Ставрополя, когда-то считалось украинским селом – туда отселяли крестьян из украинских губерний, и по матери он – украинец, фамилия матери – Гопкало. Предки по отцу были из Воронежской губернии, прадеда звали Моисей, и, как полагается бывалому партийному деятелю, которого он в себе, конечно, до сих пор не убил, в этом месте он запнулся и уточнил, что Моисей был православный и русский, «так что ты не думай», хотя у меня и в мыслях ничего такого не было.

Той зимой определенно что-то чувствовалось; сейчас уже никто не спорит с тем, что голод, бушевавший в то время на юге России, был устроен искусственно, и украинцы считают теперь, что целью искусственного голода было сделать так, чтобы их, украинцев, стало меньше – как будто советская власть, готовя индустриализацию, страдала тогда от избытка рабочих рук и только и думала о том, как бы от них поизящней избавиться. Ей-богу, более правдоподобной версией могла бы стать такая, согласно которой целью искусственного голода было нерождение одного конкретного мальчика в одном конкретном ставропольском селе, но я боюсь таких версий, и я неотреагировал даже, когда сам он сказал мне, что родился, между прочим, не в родительском доме, а в хлеву, потому что комнату, в которой жили родители, именно тогда дед решил отремонтировать, отселив на время сына и невестку в хлев («Ты, наверное, скажешь, что я родился, как Иисус Христос?» – «Нет, не скажу»).

Когда родился, он принялся громко кричать. Его спеленали и положили около матери, он еще немного покричал и затих, и так долго молчал, что мать встревожилась. Она потрогала его рукой и увидела, что рука стала красной. Думая, что это ей показалось, она потрогала его другой рукой, но и другая рука покраснела. Стало ясно, что он истекает кровью; очевидно, бабка слабо перевязала пупок. Отец всполошился, он, хоть и называл себя, по моде тех лет, безбожником, был уверен, что если он умрет некрещеным, то на том свете попадет прямо к черту в лапы. Выручил дед – стал у изголовья и прочитал «Отче наш», и это было, конечно, ненастоящее крещение, но отец успокоился, и даже странное пятно на лбу, будто от удара молнии, его не смутило, это дед все вздыхал – «Меченый».

Дед его вообще в те дни вел себя странно, как будто заметал следы – он знал, что ребенка назвали Виктором, но в Летницкой сельской церкви (в Привольном храм большевики уже закрыли), когда мальчика крестили во второй раз, сказал почему-то, что его имя Михаил. «Конспирация».

V

Люди в России, как известно, рождаются сразу спорными, неоднозначными, а часто и одиозными фигурами. В начале тридцатых ситуацию усугубляло родство. Два его деда представляли две крайности русской деревни того времени – дед Андрей был, по принятой тогда классификации, кулак, дед Пантелей – организатор и председатель колхоза. Посадили в итоге обоих, одного понятно за что, второго за троцкизм. В дневниках моей прабабки, бывшей в те времена судьей на Алтае, я читал, что из-за дефицита бумаги и времени приговоры раскулачиваемым она писала прямо на обложках уголовных дел, что, конечно, создавало некоторые неудобства в работе; когда на следующем витке советской истории, в конце тридцатых, будут судить уже ее саму, с бумагой проблем не будет. Он смеется, среагировал на слово «Алтай» – на Алтае до тридцать пятого года был в ссылке его дед, арестованный во время сплошной коллективизации Привольного. Работал на лесозаготовках, домой вернулся с почетными грамотами, которые сам же и повесил у себя в спальне рядом с иконами.

– Ты просыпаешься утром, а у тебя вернулся из ссылки дед. Радость, праздник? Я сейчас рассказываю, и мне самому кажется, что радость и праздник. А на самом деле было как-то по-другому, и я сам не понимаю, как. Это было естественно, но если бы он не вернулся, это было бы так же естественно. В то время естественным казалось все, вообще все. Если бы из нашего пруда вынырнул динозавр, я бы подумал – ну динозавр, ну и подумаешь. Или если бы инопланетяне прилетели. Когда я пошел в первый класс, нам говорили, что мы – самые счастливые дети на свете, потому что мы живем в волшебной сказке, и нет таких чудес, которые не могли бы в нашей жизни произойти. Ты не понимаешь, но ведь именно так и было – мы жили в волшебной сказке, только эта сказка была не про царей и королей, и даже не про индустриализацию и Днепрогэс, это была сказка про наше Привольное, в котором можно было проснуться утром, и увидеть, что дед исчез, или что дед снова появился. Или что исчезла церковь, или что поп сбрил бороду и работает теперь сторожем. Когда живешь в волшебстве, перестаешь удивляться любым чудесам, хорошим или плохим, не имеет значения. Говорят, что глядя на мир, нельзя не удивляться – можно, можно, вот с этим я родился, и в этом я вырос.

Дату, когда он вырос, он помнит точно – 21 декабря 1939 года, в Привольном праздновали шестидесятилетие Сталина, был митинг, и он сделал себе из какой-то щетины огромные черные усы, пришел к деду и сказал, что решил быть как Сталин. Деду идея не понравилась, он схватил внука и стал его избивать, но восьмилетний внук вырвался, и, убегая из дома, успел пообещать деду, что теперь-то он точно не шутит и обязательно сделает все, чтобы стать Сталиным по-настоящему хотя бы для того, чтобы наказать «тебя, кулака» – это был единственный раз, когда он назвал деда кулаком, и первый раз, когда он всерьез кого-нибудь обидел. Мирила их мать – условием мирных переговоров стал полный отказ деда от домашнего насилия, в обмен на который внук попросил прощения и пообещал больше не делать политических заявлений. Но желание быть Сталиным никуда не пропало, более того – это оказалась самая интересная игра во всем его детстве, когда смотришь вокруг и вместо кривых заборов родного села видишь зубчатые кремлевские стены, а уходящие за горизонт поля кажутся бесконечной географической картой, очертания которой зависят только от тебя и от того, как ты проведешь на ней границы. Я спросил, когда был последний раз, когда он играл с собой в эту игру. Он хлопнул меня по плечу – да, ты правильно понял, в девяносто первом году, конечно.

VI

Немцы пришли в Привольное утром 3 августа 1942 года, он встретил их, когда шел за водой – шли по улице трое, все в форме, разговаривали по-немецки, но матерились по-русски – он говорит, что это был первый раз в жизни, когда он услышал «эти слова».

– Ходят, ходят, ходят, ищут квартиру какому-то своему офицеру, чтоб ни блох не было, ни вшей, ни клопов, чтоб чистота – а бабка моя чистоплотная была женщина, у нее блестело все. Заходят к нам. Вещи бабкины смотрят, постель, клопов-блох ищут и так далее. Заходят и говорят: «Гутен морген, ёб вашу мать». Бабка моя: «Боже, за что ж они меня так, за что?» Я ей говорю: «Бабуся, не переживай, это они по-русски поздоровались». Она: «Ка-а-ак? Мне восемьдесят лет, я ни разу не слышала, чтоб со мной матюками здоровались». Ну вот, они зашли, и офицера к нам подселили. Подселили его, он у нас два месяца прожил. Земляк был, кстати, твой, из Кенигсберга.

Мой земляк был, видимо, из тех эренбургских героев, которые постоянно слали в Германию своим Гретхен письма о том, как плодородна русская земля и как покорны русские крестьяне, и что после войны надо будет остаться именно в этих краях, «у нас будет огромное поместье, в котором мы с тобой, любимая, будем жить» – заочное представление о немцах у жителей Привольного было вполне четкое, но этот кенигсбержец если и планировал стать местным помещиком, то как-то очень уж тайно, а сам – видимо, для конспирации, – попросил разрешения помогать хозяевам в саду, «потому что это лучше всякой гимнастики», носил воду и пытался даже что-то мастерить.

– По-русски он говорил неплохо, все пытался со мной поговорить о Достоевском, которого я – мне одиннадцать лет было, – тогда еще, конечно, не читал. Рассказывал мне про Канта, говорил, что когда Россия оккупировала Пруссию при царице Елизавете, Кант первый принял наше подданство, и за это немцы его считают предателем, а он не предатель, просто Кенигсберг для Германии – это ворота в Россию, и если сейчас Гитлер проиграет, а он вообще почему-то был уверен, что Гитлер проиграет – это в сорок втором-то году, – то России обязательно достанется Кенигсберг, и было бы даже интересно посмотреть, справятся ли русские с таким городом, ведь в России нет городов, по крайней мере, те города, которые он видел, в том числе Ставрополь, больше похожи на деревни, и он не представляет себе Кенигсберг русским городом. Я его уже совсем не боялся и сказал ему тогда, что Кенигсберг – это слишком мелко, русские будут и в Берлине, он стал спорить – Берлин вряд ли, в лучшем случае его разделят между собой русские, американцы и англичане, и если русские хотят, чтобы от них никто не убегал к американцам, то разумнее всего будет построить через весь Берлин большую стену, как в средние века – если стена будет высокая, и через нее нельзя будет перелезть, то, пожалуй, в этом случае Берлин может стать интересным русским городом, похожим на тот Петербург, про который он читал у Достоевского и Андрея Белого. Я помню, что сказал ему, что стена через весь город – это совсем не по-нашему, и что только немцу может прийти в голову такая идея, но если вдруг стена все-таки появится, то я сам сделаю все, чтобы ее разрушить. Он стал смеяться – да, ты прав, русские любят все разрушать, наверное, вы и замок в Кенигсберге разрушите, если город вам достанется. Замок я никогда не видел, поэтому про замок ему ничего не стал возражать – черт его знает, если разрушим, то и ладно, кому сейчас замки вообще нужны.

В отличие от большинства других оккупированных сел, колхоз в Привольном немцы распустили, точнее – не стали восстанавливать, потому что после взятия немцами Ставрополя и эвакуации колхозного начальства колхоз не то чтобы самораспустился, но перестал существовать, урожай 1942 года делили между семьями уже при немцах, которые даже почему-то ничего не стали забирать себе. Оккупация Привольного вообще выглядела совсем

не так, как мог представить ее себе читатель Эренбурга – даже назначение старосты, то есть заведомого пособника оккупантов, врага, карателя и Бог знает кого еще, немцы согласовали с местным населением, собранным по такому поводу на сход, и единственный кандидат – старейший житель Привольного Савватий Зайцев, которому было тогда за восемьдесят, набрал почти триста голосов при одном воздержавшемся.

– Это были первые выборы, в которых я участвовал, хотя до сих пор не знаю, засчитали немцы мой голос или нет – но никто ведь не говорил, что дети не имеют права голосовать. Дед Савва – я знал его, конечно, с детства, старик был хороший, воевал в японскую войну, семьи не было, но работал сам как молодой, сад у него был огромный, до немцев политикой, по-моему, не занимался, а как стал старостой, так у него эти инстинкты проснулись сразу, он и организатор, и хозяйственник, и дипломат. Они повесили плакат, что Германии нужны рабочие, ходили слухи, что всех будут насильно уводить, но дед Савва сказал, что если нужны рабочие, то пускай его первого и забирают, а потом уже всех остальных. Немец, который специально приехал набирать рабочих, смеялся, потом сказал, что подумает, и больше к этой теме не возвращался, уехал в Ставрополь один.

Город Ставрополь, когда его взяли немцы, назывался, между прочим, Ворошиловском, и первым приказом немецкого коменданта было вернуть городу историческое имя, Ставрополь снова стал Ставрополем. Советский указ о переименовании Ставрополя вышел только к зиме, когда красная армия перешла в контрнаступление, и слово «Ворошиловск» в сводках Совинформбюро звучало бы странно. Из Привольного немцы уходили ночью под самый новый год – старосту Зайцева звали с собой, но он ответил, что уже передумал становиться немецким рабочим, годы не те, да и за садом некому ухаживать. Потом его осудят на десять лет, умрет в лагере.

– Дед Савва – это была первая власть, которую я видел, с которой разговаривал и про которую понимал, что вот она власть и есть. Я потом много раз к этому возвращался, пытался уговорить хотя бы себя, что это была не власть, а оккупант, которого поставили оккупанты. Но постойте, это же наш дед, он у нас сто лет прожил, мы сами его выбрали. Не укладывалось это в голове никак, и я сам себе объяснял, что власть бывает советская, Сталин там, Калинин, а бывает вот такая, которая вроде бы своя, но по всем бумагам немецкая. Вот как это? Калинина же вообще, может быть, и нет, может быть, мы его придумали, а дед Савва точно есть, и тогда получается, что энкаведешники из Ставрополя, люди, которых мы видели первый раз в жизни и, скорее всего, последний – вот эти незнакомые люди забрали у нас нашу власть. Это странно было очень, я даже с точки зрения самого Сталина не мог себе это объяснить.

VII

Про «послевойны» – подозреваю, что где-то лежат два канонических текста, с которыми все, кто вспоминает об этом периоде, должны сверяться и отступать от установленного сюжета только в крайних случаях, к каковым относятся срок в лагерях и принадлежность к советской номенклатуре. У всех остальных советских молодых тогда людей сюжетов ровно два. Кому Шукшин, а кому Трифонов. У одних – растворяющееся чувство военной свободы, вчера было можно, сегодня нельзя, и на евреев стали коситься, и бюстик Мендельсона с комода убрали, кто-то из знакомых оказался любовницей Тито, а кто-то просто выпивал на приеме в Спасо-хаусе, но сторониться лучше обоих, и тему диплома зарубили, и фильм положили на полку, и что-нибудь еще в таком духе. Это у одних. У других – с фронта вернулся отец, и в его гимнастерке можно ходить в школу или уже на работу, а в саду рубят деревья, потому что налоги, а в соседних областях опять голод, а новой войны все ждут, как чего-то неизбежного, и пока она не началась, надо или помогать отцу в поле (вариант – на заводе), или работать уже самому. Собственно, у каждого, кто вспоминает свое «послевойны», набор этих кубиков, из которых выстраивается биография, отвратительно ограничен, и, имея в распоряжении десяток мемуаров людей того поколения, можно смело, не боясь ошибиться, конструировать такие же мемуары сотнями. Империя не любила разнообразия – старея вместе со Сталиным, дряхлая сама, и штурвал прицепного комбайна, за которым он проводил летние месяцы 1947 и 1948 года – сколько таких штурвалов крутилось от тогда уже Калининграда до Владивостока. Но где-то между ними была Москва.

– В Москве я не был, и вообще нигде не был, в Ставрополь ездил один раз на базар в сорок шестом году, и ничего кроме базара и не видел, но почему-то знал, что комбайн – это сегодня и, в крайнем случае, если не повезет, завтра, а послезавтра будет Москва, в которой кому еще жить, как не мне. Почему-то было у меня такое чувство по ее поводу, не знаю. Бой курантов по радио слышал и думал – в этом году по радио, в следующем своими ушами. Как? Ну просто взять и поехать поступить в институт, учился же я хорошо. Все лето думал о Москве, думал и думал.

Думал, а из МТС все привозили и привозили посылки – если в течение суток намолотил 30 гектаров и больше, полагался дополнительный продовольственный паек с двумя, между прочим, поллитровками водки. Потерял счет посылкам, сегодня 30 гектаров, завтра 30, и послезавтра тоже. Четыре восьмерки – 8888 центнеров намолотил по итогам страды 1948 года, а весной того же года преемник Калинина Шверник подписал стимулирующий комбайнеров закон – за 10 тысяч центнеров давать Героя соцтруда, за 8 – орден Ленина. Про несовершеннолетних в законе ничего написано не было, и главный советский орден ему, семнадцатилетнему, дать не решились, получил орден Трудового красного знамени и от крайкома комсомола – направление на юрфак Московского университета с правом поступать без экзаменов. Была еще книга Белинского сорок шестого года издания – самое свежее поступление в привольненскую библиотеку; Белинского не выдавали на руки, а в читальном зале только он эту книгу и читал, ну или теперь ему кажется, что только он, и вряд ли имеет значение, так это или нет, потому что того Белинского ему в конце концов от имени сельсовета подарили как первому жителю Привольного, поступившему в Московский университет. Собирал чемодан в Москву, но сначала надо было заехать в Ставрополь – вызвали.

VIII

Пришел в крайком комсомола, а в приемной говорят – а вам не сюда, вами крайком партии интересовался. Пошел в крайком партии. Военный у входа посмотрел комсомольский билет, сказал «ага» и взял трубку телефона – «Иван Палыч велел доложить». Иван Павлович Бойцов, человек в крае новый, варяг, но уже известный и, в общем, страшный, первый секретарь, направленный наводить порядок не столько в промышленности, сколько там ее было в крае, и даже не в сельском хозяйстве, а, что называется, в целом – регионы, пережившие оккупацию, были у Центра на особом счету, – так вот он сам, Иван Павлович, бежит бегом по лестнице, протягивает руку – «Ну здравствуйте, ну наконец-то».

И дальше уже молча по лестнице. Зашли в приемную, помощник в приемной вскакивает и по стойке смирно – и такое ощущение, что не только Бойцова робеет. На двери табличка – «Тов. Бойцов», но сам Бойцов жметя у кабинета, как будто не хозяин, рукой показывает – проходите, мол, а я отойду пока. И действительно исчезает. «И я сам открыл дверь».

– Вы, главное, Бойцову потом ничего не рассказывайте, не его ума это дело, – из-за хозяйского стола вышел незнакомый – высокий, в очках, сутулый, неуклюжий, на первый взгляд профессор, но пожалуй что и не профессор – этакий король из иностранных сказок, корону, наверное, на вешалку повесил, чтоб никто не догадался, но мы-то понимаем. Лет ему – под пятьдесят, но, может, и меньше, просто лицо такое. Старое лицо, оно у него и в детстве, наверное, было старое.

– Мы тезки, – говорит он. – Я Михаил Андреевич, фамилия Суслов. А вашу фамилию я знаю.

IX

– Ситуация, как видишь, идиотская. Это я его фамилию должен знать – мне было восемь лет, когда его руководить краем прислали, в войну он, как говорили, не эвакуировался, руководил подпольем, потом ушел на работу в ЦК. Человек большой и уважаемый. И тут он мало того, что, видимо, из Москвы приехал, так еще и мне говорит, что мою фамилию знает. Что мне оставалось делать? «А откуда знаете?» – спрашиваю. Шучу, то есть.

Суслов рассмеялся. «Знаете, как говорит товарищ Сталин – без оружия жить можно, без юмора не проживешь». Показал рукой на диван:

– Вы присаживайтесь, разговор нам с вами предстоит долгий и, я даже не знаю, как это сформулировать – даже не дружеский, семейный. Нет, в родственники я к вам не набиваюсь, но просто хочу, чтобы вы понимали – я для вас не просто товарищ по партии.

«А я же так и пришел с комсомольским билетом в руках, почему-то не убрал его в карман. Сажу на этом диване, кручу билет в руках, и вдруг он тоже берет со стола красную книжечку, и я понимаю – партбилет».

– Сначала да, о партийных делах. Это ваш партийный билет, берегите его, пожалуйста. Вы приняты в партию решением оргбюро ЦК, и я вас от всей души поздравляю, – отдал партбилет, пожал руку, сел рядом. – Но это, так сказать, официальная часть, а теперь к нашему разговору. На чем мы остановились? Ах да, вы спросили, откуда я знаю вашу фамилию. Ответ простой – мне вашу фамилию сказал товарищ Сталин. Откуда он узнал вашу фамилию? А он прочитал ее в указе Президиума Верховного совета о награждении вас орденом Трудового красного знамени. Почему товарища Сталина заинтересовала ваша фамилия? Потому что он увидел, что вы из Привольного. Есть причины, по которым это не отражено в его краткой биографии, но вам, я полагаю, будет интересно знать, что в 1905 году по дороге из Тифлиса в Таммерфорс товарищ Сталин два месяца жил в Привольном в доме крестьянина, – пауза. – Крестьянина звали Пантелей Ефимович Гопкало. Вы ведь, кажется, знакомы?

Дед никогда не объяснял, почему так быстро и с грамотами вернулся из алтайской ссылки. Перед глазами поплыли круги – Сталин жил в доме деда, это что вообще такое, сон?

– Чаю, сушек? – голос Суслова настолько ласков, что это действительно слишком похоже на сон. Чаю – да какого чаю, живым бы уйти, чертов орден, работал бы на комбайне и работал, потом бы в армию пошел, а из армии в Москву попасть проще, чем из Привольного, да или вообще ну ее, эту Москву, где родился, там и пригодился, и Белинского в библиотеке можно брать.

– Да что же вы так дрожите. Я же вас не арестовывать приехал, в самом деле. Все хорошо, ваши планы остаются в силе, завтра или когда вам там надо, вы уедете в Москву и будете учиться в университете. Учиться желательно на отлично, но с этим у вас, я вижу, трудностей быть не должно – вы умный молодой человек, герой труда, орденосец, двоечниками такие не бывают. Сегодня я вручил вам партийный билет. Начинается ваш путь коммуниста. Вы читали в книгах о том, каким бывает этот путь. Я обещаю вам, что ваш путь будет совсем не таким как то, о чем вы читали. Больше, пожалуй, я вам сегодня ничего не скажу, надо вас поощрить. Знаете что, – встал с дивана, прошел к столу, взял со стола книгу. – Вот вам книжка, почитайте в поезде. Вообще надо больше читать художественной литературы, дался вам этот Белинский.

«Я взял книгу, посмотрел на обложку – дореволюционное издание, Михаил Арцыбашев, «Санин», первый раз слышу, но если надо, то прочитаю, конечно».

– Ну, висо гяро, – сказал на прощание Суслов и сам же перевел, – это «всего хорошего» по-литовски. Я же сейчас в основном в Вильнюсе, знаете, наверное. Черт знает что там сейчас творится, хуже войны. Людей убивают каждый день, если сельский коммунист –

то можно сразу писать некролог, они там смертники все, святые люди. Каждый раз говорю товарищу Сталину – давайте хоть в Вильно танки введем, а то советской власти никакой нет даже в Вильно. Нет, говорит, никаких танков. Я говорю – ну тогда давайте создадим какой-нибудь отряд милиции особого назначения, как ЧОНЫ раньше были. А товарищ Сталин: «Тебе, Сулов, дай волю, ты солдатам лопаты раздашь и этими лопатами литовцев убивать будешь». Я, конечно, и лопатами могу, но если товарищ Сталин сказал, что лопатами не надо, то не буду. Ладно, заболтал я тебя, беги.

В приемной столкнулся с Бойцовым. Ничего друг другу не сказали, первый секретарь проводил взглядом. Странный день закончился.

X

«Санина» честно прочитал в поезде, не понравилось – какая-то совсем чепуха, но раз уж Суслов просил – он даже выписал себе что-то в толстую тетрадь. «Ни революции, ни какие бы то ни было формы правления, ни капитализм, ни социализм – ничто не дает счастья человеку, обреченному на вечные страдания. Что нам в нашем социальном строе, если смерть стоит у каждого за плечами?», – и приписал от себя дальше: «Декадентство». Лучшее время, чтобы впервые въехать в Москву – рано утром, после рассвета, поезд полз по Замоскворечью, и навстречу ему в утренней дымке выплывали зисовские корпуса, церковные шпили, подъемные краны строек и много чего еще – только стой у окна и смотри. Потом суэта Павелецкого вокзала, и вот он в вестибюле метро, залитом рассеянным электрическим светом, от которого мраморные стены, одежда и лица людей приобретают матово-оранжевый оттенок. Да уж, это вам не Ставрополь, и ему бы хотя бы в метро растеряться, но почему-то именно тут, в толпе у эскалатора, одной рукой толкаясь, другой волоча чемодан, он понял, что Привольного больше не будет, и, может быть, его и не было вообще, а тут он как раз дома, Москва это его дом. Гармошка пневматической двери услужливо раздвинулась перед ним, через полчаса он уже был на Стромынке. В общежитие заселили на удивление быстро, растянулся, не снимая ботинок, на казенной кровати – дома, дома.

Московские друзья появились из ниоткуда и сразу же; он ходил с ними гулять, и в пивную, и даже на вечеринки ходил. На одной его чуть не побили – дочка одного филологического профессора что-то праздновала у себя дома, это была улица Серафимовича, огромный Дом правительства окнами на Кремль. Он сидел на подоконнике, смотрел на кремлевские звезды и неожиданно даже для себя, – хотелось, наверное, показать, что он уже совсем москвич, и говорит по-московски, – спросил вдруг: «Хлопцы, я что-то не пойму, а кто хозяйку фалует? Вот эту самую Сонечку?» «Фалует» – на том языке это значило примерно то же, что сейчас «клеит», «кадрит», и, видимо, его вопрос привел в движение что-то, чего он вообще не мог заметить – все в ответ стали показывать на какого-то парня с того же филологического, а парень начал мяться – Я? Почему? – и что-то мямлить насчет того, что всего лишь учился в школе вместе с хозяйкой. Хотелось исправить возникшую неловкость, но с психологией в Привольном было туго, он еще сильнее все испортил. Подмигнул тому парню – «Ну и зря, в такие терема мырнуть, и сама ничего, тургеневская», и парень шагнул к нему – «Молчи, скот», а кто-то в другом конце подоконника взвизгнул – «Давайте его излупим», и из тех гостей пришлось срочно и совсем не героически уходить, той компании он потом сторонился, и даже была мысль пойти и извиниться, но было не очень понятно, перед кем именно надо извиняться, поэтому плюнул, просто сказал себе впредь быть в компаниях тише.

Начиналась учеба, и доцент Сакетти уже декламировал, закатив глаза, речи Цицерона на лекциях по латыни, а Мария Петровна Казачок бубнила сталинские цитаты на занятиях по «краткому курсу». Студентом ему быть нравилось, партбилет совсем не мешал, жизнь представлялась прекрасной и удивительной. Но учиться пришлось недолго.

XI

Вызвали в деканат, пришел. Деканатской секретарши на месте почему-то не было, не было вообще никого. Стоял у стола спиной к двери, дверь открылась, обернулся. Заходит незнакомый лет тридцати, в пиджаке. «Вы такой-то?» – «Да», – «Ну пойдёмте». И пошли.

Перешли Моховую и в Кремль. Часовой отдает честь, документов не спрашивает, и дальше – как будто другой город. Арки, переулки, какая-то церковь, надпись «Совет министров СССР» на подъезде. Два пролета по лестнице вверх, и провожатый, молчавший все время, подтолкнул в спину – дальше сам.

Дальше сам. Лысый генерал в приемной – Поскребышев. Не здороваясь, указывает на дверь кабинета. Прошел. Сначала показалось, что в кабинете пусто. Посмотрел по сторонам. На одной стене – Маркс и Ленин, на другой – Суворов и Кутузов, сбоку карта мира. В дальнем конце из-за маленького стола встал маленький человек, и только тогда он его заметил.

– Синий вельветовый костюм. В одной руке сигарета, другая рука прижата к боку как-то странно. На ногах не сапоги, а почему-то тапочки и шерстяные чулки до колен, брюки заправлены в эти чулки. Подошел ко мне, протянул руку. Глаза желтые, как у тигра. Потом я много раз читал, что у него на лице были оспины, но я их не заметил, хотя смотрел на него в упор.

Сталин пожал ему руку, улыбнулся, пригласил сесть – вдоль длинного стола, за которым, видимо, проходили заседания, было много стульев, и они сели рядом – Сталин и он, – лицом к портретам Суворова и Кутузова.

– Разговор нам предстоит долгий, – начал генералиссимус. Показалось, что он волнуется. – Долгий разговор, долгий. Если будут вопросы – ты не стесняйся (сразу на «ты» начал), мне так даже будет проще, – и замолчал.

Потом встал, обошел стол, подошел в карте. Обвел сигаретой Советский Союз:

– Что это, по твоему?

Он ответил:

– Советский Союз, товарищ Сталин.

– Молодец, хорошо учился, но не тому. Это для дурачков Советский Союз, а для нас с тобой, – пауза. – Для нас с тобой это уродливое детище Версальского договора. Понимаешь?

Нет, он не понимал, конечно, но ждал, что Сталин сейчас все объяснит.

XII

– А дальше? – спрашиваю я, когда понимаю, что он уже налил себе чаю, сделал шумный глоток и сидит теперь, смотрит в окно, явно не собираясь продолжать рассказ. – Дальше-то что?

– Ты погоди, – говорит он. – Сталин же сказал, что разговор предстоит долгий. Долгий разговор, а времени – три часа ночи! – звонит водителю и потом долго возится с ботинками в прихожей.

Потом мы не виделись недели две, потом он сам звонит – что-то услышал по телевизору возмутительное, пересказывает, комментируя – «Это паранойя, паранойя». «Ладно, – говорю я, – паранойя, ждать-то вас когда?» «Действительно, – говорит. – Вечером заеду». И приезжает.

– Вот вы тогда про Сталина рассказывали, – напоминаю я.

– Про Сталина, да, – тоже, видимо, такая капээсэсовская манера, то ли соглашается с тобой, то ли просто эхо изображает, не поймешь.

– Про Сталина, – повторяю я, а самому смешно, и он тоже смеется.

– Про Иосифа Виссарионовича, да. Слушай, чего тебе Сталин. Я тут Акунина книгу читал про историю русославян, сильная вещь, я тебе скажу.

– Как русославянин русославянину – чего от вас Сталин-то хотел?

Молчит, размешивает сахар в чае.

– Давай так. Я расскажу, конечно, но только если ты этого захочешь. То есть я тебя спрашиваю – ты хочешь, чтобы я тебе рассказал? – и ты должен подумать и ответить. Но подумать!

Обычно такими речами предвворяют какую-то совсем трагическую информацию, как в индийском кино – «Я твой отец», – «Нет, я твой отец». Так бывает, когда молодая жена хочет вдруг сообщить тебе что-нибудь из своего неизвестного тебе прошлого, и ты останавливаешь ее – погоди, может, все-таки не надо? «Нет, надо».

История сидит передо мной, и я уже понимаю, что эта история окажется сейчас совсем не такой, как я привык о ней думать. Стоит ли? Он улыбается – говорит, что в таком напряжении не держал никого с последних переговоров по ядерному разоружению, точнее, с первых, потому что на последние уже никто не обращал внимания, все заранее знали, что все будет, как надо, и что все эти РСД-РМД сократят, даже если особой нужды в этом нет. Еще говорит, что в свое время часто думал, как быть, если вдруг окажется, что есть некая правда, которую нужно рассказать людям, но которая опровергнет все, что знали люди о мире до сих пор – в восьмидесятые было модно рассуждать про инопланетян, и он тоже, конечно, прежде всего для забавы, для разминки, думал – ну хорошо, если вдруг надо будет завтра выступить по телевизору и сказать, что по последним данным советских ученых всеми процессами на Земле управляет какой-нибудь высший разум с далекой планеты – что бы стало с людьми, поверили бы они ему, а если бы поверили – не сошли бы с ума, не начали бы вешаться, не начали бы биться в истерике? Инопланетяне, конечно – это бульварный пример, но в каких-то вещах ему, может быть, единственному в мире вообще, если брать этот уровень и эти масштабы, удалось попробовать и посмотреть, что бывает с людьми, когда они узнают, что их ценности на самом деле не ценности, что их вера на самом деле не вера, и что их жизнь на самом деле не жизнь.

– Знаешь, – говорит он. – Я себя сам много раз спрашивал, почему я это выдержал, и решил в конце концов, что это как раз детство свою роль сыграло – ну, жизнь в волшебной сказке, я рассказывал. Люди, которые находятся в устойчивой системе координат, которые точно знают, что может произойти, а чего никогда не случится – они очень уязвимы, и ждать

от них, может быть, вообще нечего. Ничего не выдерживают, ломаются моментально, если падают, то никогда не встают. Судить не берусь, но я повидал таких и ни разу не ошибся. В работе с кадрами это очень помогало; можно не видеть человека, но только по его биографии все про него понять, главное – правильно читать анкету. «Жили ли вы на оккупированной территории» – если да, то это плюс сто очков, а не минус, как у нас думали. Плюс – потому что если человек на своем веку увидел и торжество советской власти, и ее крушение, и ее возвращение, то он после этого выдержит все. Люди стабильности – это люди веры, причем веры, основанной только на том, что они никогда не видели перемен. Честно тебе скажу – вот чтобы именно в планах, чтобы хитрый замысел такой, – ничего такого не было, я об этом просто не думал, но получилось все именно как я говорю: вот твоё поколение, люди, которые родились между 1976 и 1982 годом, то есть те, кто застал мои времена ребенком – это золотой фонд, больше таких, может быть, и не будет, и именно потому, что мы, мудаки, закалили вам психику. Дорожи этим, – засмеялся. – И кстати, ты же не ответил, рассказывать тебе про Сталина или нет?

– Рассказывать.

– Хорошо. Но ты учти вот что. Что бы ты ни узнал, запомни – не надо верить в заговоры. То есть да, в основе любой цепочки исторических событий всегда будет тайный сговор нескольких негодяев или даже не негодяев, неважно, но все равно между этим сговором и той цепочкой событий всегда будет зазор, который не подчиняется злой или доброй воле заговорщиков и никогда не может им подчиниться, даже если они все предусмотрели. Потому что все живые люди, у всех характер, у всех здоровье, у всех везение или невезение, на каждого человека сто неконтролируемых обстоятельств, а на каждых двоих – уже не сто обстоятельств, а тысячи, и каждое обстоятельство – это новый вариант, не предусмотренный никаким заговором. Вот я хочу, чтобы ты это понимал. То, что я тебе сейчас расскажу – ну да, это тайна, и, получается, это заговор, но если ты подумаешь, что этим заговором можно объяснить хоть что-нибудь вообще, ты будешь первый идиот.

XIII

Оказывается, про живых людей и про тысячи обстоятельств – это он уже пересказывал монолог Сталина, Сталин ходил в своих тапочках вокруг стола, и, поглядывая иногда то на Ленина, то на Суворова, рассуждал о заговорах и о том, что нет и не бывало такого заговора, результат которого был бы в точности равен тому, что задумали заговорщики. Произнеся такую речь, он перешел к делу. Спросил, что случилось в России в октябре семнадцатого года. «Великая октябрьская революция». «Революция, верно. И если я спрошу, кто ее сделал, ты ответишь, что ее сделали мы. Это тоже верно, но нам помогли».

«Нам помогли». Есть много эмигрантских историков и писателей, да и не только эмигрантских, которые до сих пор, хотя прошло уже тридцать лет, и вообще-то можно было бы сделать какие-нибудь выводы, уверены, что большевикам помогли немцы. Никто почему-то не спрашивает, что если немцы были такие умные, то почему они не помогли себе самим, и почему им достался Версальский мир и Веймар, а молодая советская республика от крушения немцев никак не пострадала, а совсем даже наоборот. Эмигрантские историки на это отвечают, и советские историки их в этом с удовольствием поддерживают, что все дело оказалось в политической дальновидности Ленина, в его гении, но при всем уважении к Владимиру Ильичу – слишком несоразмерен его гений тому, что случилось с Россией. «Слишком несоразмерен», – Сталин так и сказал, и посмотрел на портрет Ленина, как будто обращался именно к портрету. Нет, не в Ленине дело и даже не в немцах. Война – да, война в судьбе России сыграла роковую роль, но какую именно – этого никто никогда не поймет, и, может быть даже, это и хорошо, что никто не поймет, потому что если бы все всё понимали, ничего хорошего из этого не вышло бы.

Сталин говорил то с сильным акцентом, то совсем без него; в Привольном был один учитель, бывший ссыльный из Ленинграда, над которым все смеялись, потому что он говорил «кура», имея в виду курицу – у учителя была странная по привольненским меркам речь, очень твердое «г», очень твердое «в» (у южан чаще было «у» – «завтра», «у субботу»), в слове «что» он произносил «ч», не «ш», и вообще его речь была для всех эталоном настоящей русской речи, потому что по поводу своих речевых особенностей южане, в общем, все понимают и все свои недостатки знают. И вот на эту ленинградскую, абсолютную речь Сталин несколько раз по мере своего монолога срывался, как будто внутри него борются двое – один грузин, сын сапожника, а второй неизвестно кто, может, даже царь. Это было странно.

Сталин продолжал: война заканчивалась, победители готовились перекраивать карту мира и уже довольно точно представляли себе, каким будет мир по итогам войны. В королевских и президентских дворцах, генеральных штабах и военных министерствах люди сидели очень неглупые, и кроме понятной предпобедной эйфории к концу шестнадцатого года ими овладело еще одно, пожалуй, даже более весомое чувство – страх. Центральные державы обрекали себя на унижение, победитель в том числе и унижения от них добивался, но победитель знал, что если униженного не добить, он когда-нибудь встанет и тебе отомстит. И если от какой-нибудь страны и можно было отмахнуться – мсти, мол, я тебя и не замечу, то по поводу центральных империй все было просто: даже если от них останется полтора хутора, эти полтора хутора будут жить мыслью о реванше и когда-нибудь обязательно его добьются. Потому что есть народы малые, есть средние, а есть великие. Великий народ – это не тот, у которого большая численность населения, а тот, кто создал аристократическую элиту, давшую миру образцы особых достижений в области науки или культуры. И к этим великим народам нужно относиться уважительно. Если их обижать, то могут быть очень плохие последствия.

И, значит, торжествуя победу, надо было с первых же ее минут готовиться к реваншу, которого, скорее всего, союзники просто не переживут – по крайней мере, Франция и Британия, силы не те, ресурсы не те. Лет до реванша по всем подсчетам оставалось не более двадцати пяти, и у кого-то (у кого – Сталин не знал или не хотел говорить, но скорее все-таки не знал) возникла жестокая идея. Кем-то придется пожертвовать во имя будущей победы. Какая-то страна должна посвятить себя всю будущей войне, стать одним большим полком, который каждый день на протяжении этих двадцати пяти лет будет совершать тактические маневры, учебные стрельбы, тренировки в условиях, приближенных к боевым, – и больше ничего, и прежде всего – никакой религии и никакой частной собственности, и то, и другое мешает воевать. Не есть, не пить, не слушать музыки, не читать книг, не любить, не нянчить детей, не смотреть в небо. Не жить. Во имя будущей победы пожертвовать одной страной, сказать реваншу «Аста ла виста» за двадцать пять лет до того, как он произойдет. Россию вывели из первой мировой войны и начали готовить ко второй войне. Это была единственная цель Великой октябрьской социалистической революции. Других целей у нее не было.

XIV

И теперь эта цель достигнута, центральные державы снова побеждены, уже окончательно, и Россия как военный лагерь никому не нужна. «Мне тоже не нужна», – улыбнулся Сталин.

– Может быть, это странно прозвучит из моих уст, но за эти годы я кое-что успел полюбить, и это кое-что – Россия. Избавить ее от большевизма – наш патриотический долг. Мой, твой, общий.

Условия, поставленные союзниками тридцать лет назад, выполнены, теперь пришло время демобилизации, на которую, по подсчетам Сталина, уйдет лет не меньше, чем на мобилизацию, то есть если лагерь строили тридцать лет, то и разбирать его придется лет тридцать.

– Если у зарезанного выдернуть из сердца нож, он сразу истечет кровью и умрет, – грустно сказал Сталин. – Я резал, я знаю. Нож надо вынимать в подходящих условиях, желательно в больнице и обязательно – только тогда, когда угроза жизни уже миновала. То есть скоро.

Сталин бы сам с этим справился, но ему уже семьдесят лет, а до ста лет он, очевидно, все-таки не доживет («Старики имеют обыкновение умирать даже при социализме»), поэтому план такой – сначала бросить все лет как раз на тридцать, пусть тихо рушится само. Большевики построили террористическую диктатуру, и чтобы она умерла, достаточно просто остановить террор. Политбюро состоит из идиотов, которые ничего не знают и в лучшем случае верят в социализм, а чаще – просто тихо боятся Сталина. Исключение – Суслов, он в курсе; ну вот Суслов и будет следить за порядком, Сталин с ним уже договорился, что после Сталина генеральным секретарем будет Хрущев – дворянин и белогвардеец, который ужасно боится, что кто-нибудь узнает, что он дворянин и белогвардеец, поэтому Суслова он, конечно, будет слушаться. Пусть на очередном съезде партии скажет, что во всем виноват Сталин – этого будет достаточно, чтобы началось. Если Хрущев продержится тридцать лет – хорошо, если нет – Суслов подберет кого-нибудь, у него даже есть на примете какой-то полковник с Третьего украинского фронта, румын, Суслов говорит, что этот румын еще надежнее Хрущева, просто молодой еще пока. И вот только через тридцать лет, только после Хрущева и, может быть, после этого румына, должен будет прийти настоящий преемник Сталина, который аккуратно нажмет кнопку, чтобы от построенного Сталиным милитаристского кошмара не осталось вообще ничего и, если сможет, вернет Россию хотя бы к такой буржуазной демократии, которую предусматривал созыв Учредительного собрания. Сталину нужен преемник, который похоронил бы большевизм. Сталину нужен преемник, который научил бы русских новому мышлению, сказал бы им, что общечеловеческие ценности несопоставимо важнее ценностей классовых, которых, как считает Сталин, скорее всего просто не существует.

– В общем, этот преемник – ты, – Сталин посмотрел ему в глаза и улыбнулся.

XV

Он смотрел в желтые глаза Сталина и не мог сказать ни слова. Зубцы кремлевской стены за окном были такие же красные, а небо такое же черное, но мир уже, конечно, никогда не будет прежним. Красным светилась звезда Спасской башни, но ему вдруг показалась, что звезда это черная, страшная. Волшебная сказка приобретала очевидные черты кошмара, а роль принца в этом кошмаре досталась ему. Он снова подумал о своем комбайне.

Сталин взял его за руку, сжал его ладонь своей. Да, он понимает, что это тяжело, и он сам не ожидал, что так трудно будет найти подходящего человека. «Я проклят», – сказал Сталин. Вокруг мертвецы, надменная каста, которая к тому же стремительно вырождается – по секрету, года два назад сын наркома Шахурина застрелил дочку одного дипломата, старого большевика, стали разбираться – оказалось, дети членов ЦК – это такие сынки чикагских миллионеров, убивающие людей из любопытства. Надеяться на них нельзя точно, а никого больше, кажется, и нет. Хорошо, что Сталин лично просматривал списки орденосцев – увидел знакомую фамилию, вспомнил те два месяца в Привольном и доброго Пантелея, и все сразу придумал, нашелся надежный человек. Один на стовосьмидесятимиллионную страну.

– Я проклят, – говорит Сталин, – и прекрасно понимаю, что я проклят. Я понимаю, что это я превратил жизнь этих ста восьмидесяти миллионов в ад. Но я всего лишь политик, может быть, неплохой политик, а неплохой политик – это всегда реалист, всегда деловой человек. Политика не делается в белых перчатках – это мне еще Ленин говорил, но еще он говорил, что если перчатки резиновые, чтобы в кишках можно было ковыряться, то они могут быть и белыми, и политика в таких белых перчатках пожалуй что и возможна. Вообще, пойми: если бы я был американец, я бы стал президентом и защищал бы права граждан. Если бы я был немец, – Сталин улыбнулся, – из меня бы получился бесноватый фюрер не хуже Гитлера. Если бы я был политиком в царской России, я бы выступал в Государственной думе, и на меня рисовали бы карикатуры в «Новом сатириконе». Но мне выпало быть учеником Ленина, Ленин позвал меня и сказал – вот, Иосиф, твоя задача, выполняй ее. И я ее выполнил. Видит Бог, не я виноват, что мы живем в таком жестоком веке, который подкарауливает тебя на улице и требует: «Солги, убей». Тебе тоже придется лгать, тебе придется даже убивать. Человеческая жизнь – да, разумеется, это высшая ценность, но мы погибли бы, если бы не погибали.

Еще Сталин сказал, что партия – это своего рода орден меченосцев, только меченосцев на самом деле меньше, чем все думают. «Я меченосец, ты, – теперь, когда я тебе все это рассказал, – тоже меченосец. Еще меченосец Суслов, его ты знаешь. Еще Андрей Андреевич Андреев, но он уже совсем болен, оглох, и меченосец из него так себе. Еще есть такой Громыко, он сейчас в Америке по дипломатической линии, но вы с ним обязательно встретитесь. Еще важная вещь – у меченосца главный враг это чекист. Чекисты – это плесень. Вещь, неизбежная в наших условиях, но оттого еще более опасная – полностью их никогда не уничтожишь, но время от времени травить надо». Сталин напомнил ему, как в свое время он избавился от Ягоды и Ежова, потом («Это уже после моих похорон, не хочу этого видеть, не хочу расстраиваться») Суслов позаботится, чтобы Хрущев расстрелял Берию, а дальше уже по обстановке – но главное не доверять чекистам, опасаться их.

И сразу к техническим вопросам. Ходить в университет больше не надо, ничему хорошему там не научат. Заниматься с ним будет по индивидуальной программе Суслов, он сам его найдет. Потом, когда Суслов скажет, надо будет вернуться в Ставрополь и ждать, партийную работу подберем, волноваться по этому поводу не надо. Больше ничего особенного не требуется – разве что глупостей никаких не делать.

– Я даже не прошу тебя хранить в тайне все, что я тебе сегодня рассказал, – добавил Сталин. – Сам прекрасно понимаешь – если скажешь кому-нибудь даже хотя бы просто, что был у Сталина, тебя даже мать родная в сумасшедший дом сдаст. Есть такой молодой писатель, Анатолий Рыбаков, вот он хорошо сказал – есть человек, есть проблема, нет человека – нет проблемы. Ты есть, поэтому будь осторожен. Больше мы, я думаю, не увидимся, так будет лучше. Я, как все старые разбойники, немного сентиментален, и не хочу к тебе привязываться.

Ну, вот и все, наверное. Ступай с Богом.

XVI

Вернулся в общежитие ночью, но сосед по комнате чех Зденек Млынарж не спал – были гости, пили что-то похожее на самогон. Налили ему, отказался, заварил себе чай. Сел за стол, молча слушал болтовню гостей. «Это было 6 ноября 1948 года. День, когда я сказал себе, что никогда больше не возьму в рот ни капли алкоголя, потому что действительно – проболтаюсь спяну, и доказывай потом, что ты не сумасшедший и не шпион».

Утром все равно пошел в университет, но у дверей аудитории кто-то взял за рукав – вчерашний парень в пиджаке, который заходил за ним в деканат. «Почему-то так и знал, что вы все равно придете учиться, а у вас ведь теперь учеба другая». Пошли по коридору, парень вдруг остановился, протянул ему ладонь – «Воронцов, референт Михаила Андреевича».

Снова, как вчера, перешли Моховую. Зашли в дом на улице Коминтерна – строго между университетом и Боровицкой башней Кремля. Третий этаж, маленькая квартира, обставленная, как в кино про дореволюционную жизнь. Старинные гравюры по стенам, в углу – икона. За столом, заваленным книгами и бумагами – Сулов. Без пиджака, в шерстяной кофте поверх рубашки. Поднял глаза, улыбнулся какой-то диетической улыбкой:

– Ну что, студент? Будем работать?

XVII

Уже потом, когда он станет генеральным секретарем, а потом и президентом, Сталин превратится в главного национального антигероя. Если почитать газеты конца восьмидесятых, то можно подумать, будто страна самоотверженно перестраивается, преодолевая сопротивление вечно живого врага – Сталина; его обличали с трибун, в книгах и в кино, на него рисовали карикатуры, в Измайловском парке снесли последний из оставшихся в Москве его памятников. На таком фоне никто и не заметил, что сам генеральный секретарь ни в одной своей речи, ни в одном интервью, ни в одном публичном (а на самом деле и в непубличных тоже) разговоре не сказал о Сталине ни одного плохого слова. Сталин бы не обиделся, Сталин сам ему говорил – «солги», и он, в общем, достаточно часто лгал, но то ли суеверие, то ли действительно благодарность, ну или просто странная связь между ним и мертвым генералиссимусом не давала ему права хоть полсловом обидеть того старого грузина, который осенью сорок восьмого года рассказал ему, как на самом деле устроена советская Россия и какую роль в ее истории предстоит исполнить ему.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.